

Рада ПОЛИЩУК

О бывшей старой деве Фирушке, бесценном папулечке Лазаре и ненаглядном муже Яше

Брожу по опустевшей Одессе. Плуताю по вновь переименованным улицам и переулкам. Все перепуталось. Вот родная улица Чичерина, бывшая Успенская, ныне опять Успенская. Время потекло вспять? Память ходит по кругу? Или меня снова занесло не туда?

Вижу: впереди, тяжело опираясь на палку, идет, подтягивая парализованную левую ногу, Лазарь — отец старой девы Фиры, моей троюродной тетки. Впрочем, не такая уж она старая была в ту пору. Лазарь умер, когда ей исполнилось двадцать восемь. И все же Фирино девичество явно затнулось — факт неоспоримый и повсеместно обсуждаемый, с сочувствием, осуждением, ленивым любопытством, невнятным злорадством. Так и слыла на всю Одессу старой девой не старая еще Фирушка.

Это сейчас она старая старуха семидесяти восьми лет, живет в Чикаго с мужем Яшенькой, сыном Шимоном и шестью внуками из трех пар близнецов — Дэвик и Дзвик, Броня и Соня, Ривка и Рафка. Вот такой красивой картинкой обернулись жизненные обстоятельства у старой девы Фирушки.

Только бедный папулечка Лазарь этого не узнал.

Умирая, бормотал до последнего вздоха:

— Фирушка, девочка моя, прости, прости, не сумел, не устроил твою судьбу, прости, дочечка, рыбка золотая моя...

Фирушка плакала навзрыд и целовала его холодеющие руки:

— Ты ни в чем не виноват, папулечка, родненький мой, не виноват ты, все от Бога, не любит Он меня за что-то...

Поспешила Фирушка с таким категорическим выводом, поспешила. Но в ту горькую минуту кто же мог знать, что вся жизнь ее переменится? Кто?

Фирушка осталась совсем одна. Плакала дни и ночи напролет, остановиться не могла. Глаза заплаыли, будто незрячая стала, и лицо совсем уродливое сделалось: огромный, в пол-лица, рот с вывернутыми губами, нос крючком, на подбородке тень отбрасывает. Ей казалось, не только люди избегают глядеть на нее, но даже кошки с дикими воплями разбегаются в стороны, как бешеные. Впрочем, мартовские кошки всегда бесятся, и может быть, она вовсе была ни при чем.

Вот и маленький Колька, приبلудный сын соседки Сары, едва завидит Фиру, зажмуривается, точно чудische-страшилище явилось ему, ладошками сверху глаза прикрывает от злого видения и орет что есть мочи:

— У Фирушки класивые глазки, класивые! Где Фирушкины глазки?

Такой славный мальчонка, хоть и приبلудный, — заметил и запомнил, что у нее красивые глаза.

А так один только папулечка всегда угаривал ее до самой смерти:

— В такие глаза, Фирушка, только дурак не влюбится. Один раз увидишь — и все, и конец, пропадешь. Поверь мне, чтоб я так жил.

Чтоб он так жил. Ох! Дорогой, ненаглядный папулечка! Можно подумать, что она до двадцати восьми лет в парандже ходила, и ни один мужчина ни разу не видел ее прекрасных глаз.

— "Очи черные, очи страстные..." — это про тебя, дочечка моя. Про тебя, — твердил папулечка и смахивал слезы.

Почти всю ее жизнь — до папулечкиной смерти и еще двенадцать беспросветных месяцев после — сопровождали Фирушку слезы. Мамочка

умерла рано, когда ей едва исполнилось пятнадцать. Споткнулась на улице, упала, ударилась головой о ступеньку чужого крыльца и умерла.

— Нарочно не придумалась! — вскрикивал Лазарь и озирался по сторонам, ища подтверждения, опровержения, исправления случившегося.

Этот несчастный случай был известен всей Одессе. Они везде окзывались в центре внимания, Лазарь и Фирушка: в трамвае, в поликлинике, на Привозе. И Лазарь всем рассказывал про мамочку.

— Нарочно не придумалась! — вновь и вновь вскрикивал он, смахивал слезы и начинал свой рассказ: — Она была такая ловкая, спортивная, гуттаперчевая, в нашей бригаде синевлузников... Вы же ж помните, конечно, кто такие синевлузники? — всегда переспрашивал он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — В наших пирамидах она на самом верху стояла, на четвертом ярусе, и сама спрыгивала, без поддержки и страховки... А тут: споткнулась, упала и — не поднялась. Слушайте, так же ж не бывает, вы знаете такое? Нарочно не придумалась! — и принимался плакать.

А вслед за ним и Фирушка. Мамочку было жалко, папулечку. И себя, уродину несчастную, которую теперь всю жизнь любить будет только один папулечка. А если он умрет? Она точно помнит, что подумала тогда именно так: "если". Потому что если бы подумала "когда" — не выдержала бы подвигающей пустоты одиночества и умерла раньше папулечки. Так ей тогда казалось.

Только то давнее "если" утекло в прошлое с потоками Фирушкиных слез, когда папулечка умер-таки, и она осталась одинешенька на всем белом свете. Полная сирота.

И все вспоминала, вспоминала. И каждое новое воспоминание вызывало прилив слез. Глаза не просыхали и не открывались. Да и не хотелось Фирушке их открывать. Что могла она увидеть? Ненавистное с детства отражение в зеркале, теперь еще и безглазое? Свое безысходное одинокое будущее, ничемную старость? Даже обузой она никому не станет — потому что никого у нее нет.

Так, наверное, думала моя троюродная тетка Фира, старая дева, оплакивая смерть отца и заодно себя, горемычную. И некому было ее утешить, отвлечь от мрачных мыслей. Не то что никого не было рядом — просто никто не готов был делиться с ней ее горе и тонуть в потоке ее слез. Погоревали о Лазаре и родственники, и соседи. В двух проходных дворах, соединенных глубокой аркой с помойными баками, на его похоронах немало набралось и дружески расположенных к усопшему и от души жалеющих Фирушку, одинокую старую деву, бобылиху на веки вечные, и любителей поплакать у гроба над бренностью и скоротечностью жизни, и просто праздно любопытных ко всякому происшествию. Всякого народу сошлось: и родных, и чужих, и малознакомых, и евреев в ермолках с молитвенниками в руках, бормочущих заупокойную молитву, и говев, осеняющих крестом себя и покойного, — никого ж не удержишь за руку.

А Фирушке и не до того было, она все видела как во сне, одно только запомнила точно: строгое отчужденное лицо дорогого папулечки, нездешнее лицо, почти неузнаваемое. Она целовала его холодный

расправившийся от морщин лоб, гладкие щеки, вставшие на место губы, она шептала ему в самое ухо заветные слова, которые больше никогда никому сказать не сможет. Слова извечные, не ею придуманные, но кровью ее сердца истекающие: "Оеёёёй, вей из мир, Господи, дорогой мой, единственный папулечка родненький, зачем ты ушел, на кого оставил меня одну-одиношеньку, зачем покинул меня несчастную, как жить мне без тебя? Для кого? Для чего? Не уходи, останься со мной, родненький мой, или возьми меня с собой, я не смогу жить без тебя! Мне страшно! Оеёёёй, вей из мир, Господи!"

Плач всех веков и народов, плач осиротевшей души, беспомощные слова, бесполезные, на всех языках одинаковые — неподдельные и нецелесообразные.

А папулечка молчал отрешенно, будто не вчера еще только, перед самой смертью, глядя ее руки одной правой, уже слабеющей рукой, говорил: "Я люблю тебя, дочечка, и всегда буду рядом, всегда буду...". Еще что-то сказать хотел, но не успел. "Всегда буду". А где? Где ей искать его? В могиле? На небесах? Или где?

Фирушка была безутешна. Не жила — только горевала, плакала, вспоминала. И всякое воспоминание было горьким, болезненным, невыносимым. А кроме этих воспоминаний у нее ничего и не было.

Они пережили с папулей один счастливый период — период его жертвенной борьбы за Фирушкину судьбу и их внезапной надежды. Никогда не молилась она так истово, так воодушевленно, как тогда. Почти поверила в Божественный промысел: надежда на добрые перемены появилась, как это ни странно, вследствие тяжелейшего инсульта, который пережил папулечка. И Фирушка вместе с ним — час за часом, минута за минутой. Лицо его перекосило, левая рука повисла, и при ходьбе он тянул левую ногу, зато — счастье какое! — лежал в одной палате с настоящим сватом — шотхеном из синагоги.

Они никогда не думали, что существует такая возможность: "ярмарка женихов". Этой неловкой шуткой они подбадривали друг друга: дескать, еще не утратили чувство юмора. Но надежда вспыхнула обжигающим пламенем. "Взвейтесь кострами, синие ночи", — и к стати, и не к стати вспомнила Фирушка, вспомнила свой восторг и испуг, вспомнила, как глаз не могла оторвать от огненного языка, наклонилась низко и не сразу почувствовала: жарко сделалось голове, жар побежал по волосам, потом стало темно и трудно дышать, кто-то вовремя надел ей на голову чехол от гитары... Не обгорела даже, только волосы подпалились чуть-чуть. С тех пор она боится открытого огня.

Папулечка стал по воскресеньям ездить в синагогу. Фирушка провожала его до трамвая. "Дальше я сам, — говорил он. — Иди домой, дочечка, жди меня". Она стояла за углом, дождалась, пока подойдет трамвай, глядела, как он с трудом взбирается на ступени, и мысленно благословляла его на подвиг. Однажды она даже непроизвольно перекрестила его спину, отдернула руку, будто прикоснулась к запретному, засунула глубоко в карман, а мысленно повторяла: "Благослови его, Господи, помоги ему, Господи".

Он возвращался усталый, обес-

силенный, но вдохновленный, — показывал ей записочки: рост, образование, возраст, имя.

— Господи, сколько холостых мужчин, теперь все будет хорошо, дочечка, — шептал он и улыбался просветленной улыбкой, и перекошенный параличом рот сползал слева к подбородку, а правый уголок вздергивался к носу. — Женихи, Фирушка! Смотри, сколько женихов!

Он раскладывал на столе, как пасьянс, драгоценные записочки и уверенно говорил:

— Мы выберем тебе самого лучшего в мире! И ты будешь счастлива. Конечно, чтоб я так жил!

Чтоб он так жил, Господи!

Ради папулечки Фирушка согласна была выйти замуж за кого угодно, не глядя. Но трагедия состоялась как раз в том, что на нее никто не глядел. Вернее, рассматривали в упор, со всех сторон, как лошадь на базаре, и она со стыда сгорала от такой откровенной бесцеремонности. Но терпела ради папулечки: его усилия не должны пропасть даром, он ведь делает это из последних сил.

Почти каждый день, в течение года, ездила она на эти мучительные свидания. Правильнее сказать — несвидания, потому что к ней никто не подошел из потенциальных женихов. Ни один! Ее уродство отпугнуло всех. Хотя и она не заметила среди топтавшихся вокруг нее мужчин ни Марлона Брандо, ни Алена Делона. Фирушка же готова была принять и полюбить любого, только чтобы поддержать папулечкину угасающую с каждым днем надежду, потому что видела — вместе с надеждой угасает его жизнь.

Ровно через год после смерти Лазаря Фирушка порвала всю его "картотеку" — и уже использованные, и отложенные на будущее записочки с именами, телефонами и другими параметрами женихов. На каких-то записочках стояли галочки с минусом, но почему-то они их не выбросил, на каких-то — его неровным почерком, карандашом, были сделаны неразборчивые пометки. Она не сумела их разгадать, бросила все обрывки в унитаз. И только спустил воду, будто очнулась от глубокого обморока: хлынули слезы, сердце пронзила острая боль, от которой перехватило дыхание. Фирушка, судорожно всхлипывая, наклонилась к унитазу и выхватила последний клочок бумажки, плавающий на поверхности воды.

Чернила уже размылись, но телефон и первую букву имени можно было разобрать. И она переписала их. Зачем — сама не понимала. Высушила и мокрую бумажку с расплывшимися знаками: последний клочок папулиной надежды.

Позвонить незнакомому Яше Фирушка долго не решалась. Хотя в глубине души уже знала, что делает это. Может, она сошла с ума, рехнулась от тоски одиночества, может быть. Но этот клочок бумажки, который не унесло в канализацию, стал казаться ей знаком, ниспосланным свыше, из тех неведомых сфер, куда ушел от нее папулечка. Здесь, на земле, они никогда не расставались надолго.

Она ведь ни разу не оставила его одного и тогда, когда он ездил в синагогу. Садилась на следующий трамвай и шла — шаг в шаг, следом, на таком расстоянии, чтобы он не мог ее заметить, но чтобы в случае чего тут же оказаться рядом. Он так никогда и не узнал, что она сопровождала его в этих непосильных пу-

тешествах, одолевая которые помогала ему любовь к ней, к Фирушке. Так-то он из дома не выходил бы, сил никаких не было, ноги-руки не слушались, тело было чужое, тяжелое, свинцовое, в глазах пелена, и шум в голове такой, что уши закладывало. Если бы не Фирушкино счастье, за которое он жизнь готов был отдать, он бы лег, и не поднимался, и глаза бы прикрыл. Навсегда. Устал от жизни папулечка. Она это не просто видела — она чувствовала, словно слились они в единое целое, в котором боль, надежда, одиночество, прошлое и будущее — все одно на двоих, нерасторжимое.

Фирушка набрала номер телефона, который уже давно знала на память, зачем-то долго-долго слушала длинные монотонные гудки, будто разбудить хотела кого-то. И разбудила. Голос у мужчины был заспанный и невыразительный, без полутонов, как телефонные гудки. Так ей показалось. Но она так нервничала, что вся дрожала как в лихорадке.

Разговор не складывался. Сначала она долго мямилась что-то невразумительное про мокрую бумажку, расплывшийся телефон и букву "я", оставшуюся от имени... А потом — словно вдруг прорвало плотину — бурным потоком: про свое одиночество, про длинный нос, про "очи страстные", про пирамиду "синевлузников", где мамочка стояла в четвертом ярусе, про ее роковое падение годы спустя, про папулечкин инсульт, про его неродное лицо в гробу...

Она с ужасом вслушивалась в свои слова, как будто была на другом конце провода: зачем она все это говорит? Кому? Не может он так долго и терпеливо слушать ее бредни, чужой мужчина, о котором она не знает ничего, кроме номера телефона и имени, угаданного по полурасплывшейся букве "я".

— Хотите, я приеду?

Он здесь, он с ней, он слушал весь этот бред! Слушал!

— Нет, нет! — вскрикнула Фирушка испуганно, и тут же поспешно: — Да! Да!

— Говорите адрес.

Его звали Яша, нетрудно было догадаться. Невидный, худенький, лысый. Нос, как и у нее, отбрасывал тень на подбородок. А глаза — теплые, тревожные, страстные, испуганные. Где-то она видела эти глаза. Вообще, он кого-то ей мучительно напоминал, этот Яша, буквально выуженный со dna унитаза.

После они всегда смеялись до слез, вспоминая историю своего знакомства. Никакой романтики! Зато предначертанность точно была.

Они были похожи, как близнецы. И полюбили друг друга с первого взгляда. Фирушка не ждала такого поворота событий в самых отчаянных своих мечтах. Не жертвоприношение на алтарь беззаветной папулиной надежды на ее счастливое будущее. Не прыжок в омут с закрытыми глазами от безнадёжности — пан или пропал: в другую жизнь, как в смерть, лишь бы распрощаться с этой, постылой. Не жертвоприношение, нет, — к ней пришла любовь. Настоящая любовь. На долгие годы Яша стал для нее самым лучшим мужчиной в мире.

Папулечка таки оказался прав: они его нашли.

Вот такая счастливая конфигурация сложилась у бывшей старой девы Фирушки без горячо любимого папулечки Лазаря.

Он таки оказался прав.